

I

Как тот дикарь, я недоумением подбравший странный выброc ли океана? захоронок песков? или с неба упавший непонятный предмет? — тамсоловатый в изгибах, отблескивающий то смутно, то ярким ударом луча, — пертит его так и сяк, пертит, ищет, как приспособить к делу, ищет ему доступной низшей службы, никак не догадываясь о высшей.

Так и мы, держа в руках Искусство, самоуверенно почитаем себя хозяевами его, смело его направляем, обновляем, реформируем, манифестируем, продаем за деньги, угождаем сильным, обращаем то для развлечения — до острадных песенок и почного бара, то — татычкою или палкою, как схватились, — для политических мимобежных нужд, для ограниченных социальных. А искусство — не оскверняется нашими попытками, не теряет на том своего происхождения, всякий раз и во всяком употреблении уделяя нам часть своего тайного внутреннего света.

Но охватили ли весь тот свет? Кто осмелится сказать, что ОПРЕДЕЛИЛ Искусство? перечислил все стороны его? А может быть уже и понимал, и пытался нам в прошлые века, но мы недолго могли на том застояться: мы послушали, и пренебрегли, и откинули тут же, как всегда спеша сменить хоть и самое лучшее — а только бы на новое! И когда нам снова скажут старое, мы уже и не вспомним, что это у нас было.

Один художник мнит себя творцом независимого духовного мира, и вваливает на свои плечи акт творения этого мира, населения его, объемлющей ответственности за него — но подламывается, ибо нагрузка такой не способен выдержать смертный гений; как и вообще человек, объявлявший себя центром бытия, не сумел создать уравновешенной духовной системы. И если овладевает им неудача — валят ее на извечную дисгармоничность мира, на сложность современной роторианной души или непонятность публики.

Другой — знает над собой силу лысную и радостно работает маленьким подмастерьем под небом Бога, хотя еще строже его ответственность за все написанное, нарисованное, за восприимчивые души. Зато: не им этот мир создан, не им управляется, нет сомнений в его основах, художнику дано лишь острее других ощутить гармонию мира, красоту и безобразия человеческого вклада в него — и остро передать это людям. И в неудачах и даже на дне существования — в нищете, в тюрьме, в болевших, ощущение устойчивой гармонии не может покинуть его.

Однако вся иррациональность искусства, его ослепительные изгибы его непредсказуемые находки, его сотрясающее воздействие на людей — слишком волшебны, чтоб исчерпать их мировоззрением художника, замыслом его или работой его недостойных пальцев.

существования, когда бы не было у нас искусства. Еще в предутренних сумерках человечества мы получили его из Рук, которых не успели разглядеть. И не успели спросить: за чем нам этот дар? как обращаться с ним?

И ошибались, и спибутся все предсказатели, что искусство разложится, изживет свои формы, умрет. Умрем — мы, а оно — останется. И еще пойдем ли мы до нашей гибели все стороны и все назначения его?

Не всё — натыкается. Иное влечет дальние слои. Искусство растекает даже тахоложенную, затемненную душу к высокому духовному опыту. Посредством искусства иногда посылаются нам — смутно, коротко, такие откровения, каких не выработать рассудочному мышлению.

Как то маленькое теркальце скалок: в него глянешь и увидишь — не себя — увидишь на миг Недоступное, куда не доскакать, не долететь. И только душа занывает.

2

Достоевский загадочно сбронил однажды: "Мир спасёт красота". Что это? Мне долго казалось — просто фраза. Как бы это возможно? Когда в кровавой истории, кого и от чего спасала красота? Облагораживала, возвышала — да, но кого спасла?

Однако есть такая особенность в сути красоты, особенность в положении искусства: убедительность истинно-художественного произведения совершенно непроверяема и подчиняет себе даже противящееся сердце. Политическую речь, напристую публицистику, программу социальной жизни, философскую систему можно по видимости построить гладко, стройно и на ошибке, и на лжи; и что скрыто, и что искажено — увидится не сразу. А выйдет на спор противонаправленная речь, публицистика, программа, инструкторная философия — и всё опять так же стройно и гладко, и опять сошлось. Оттого доверие к ним есть — и доверия нет.

Попусту твердится, что к сердцу не ложится.

Произведение же художественное свою проверку несет само в себе: концепции придуманные, натянутые, не выдерживают испытания на образах: разваливаются и те и другие, оказываются хилы, бледны, никого не убеждают. Произведения же, тачерпнувшие истины и представившие нам ее студенно-живой, захватывают нас, приобщают к себе властно — и никто, никогда, даже через века, не явится их опровергать.

Так может быть это старое триединство Истины, Добра и Красоты — не просто парадная обветшавшая формула, как каталось нам в пору нашей самонадеянной материалистической юности? Если вершины этих трех деревьев сходятся, как утверждали исследователи, но слишком явные, слишком прямые пороки Истины и Добра подавлены, срублены, не пропускаются, — то может быть причудливые, непредсказуемые, неожиданные пороки Красоты пребывают и влываются В ТО ЖЕ САМОЕ МЕСТО, и так выполняют работу за всех трех?

И тогда не обмолвкою, но пророчеством написано у Достоевского: "Мир спасет красота"? Ведь ЕМУ дано было многое видеть, старяло его удивительно.

И тогда искусство, литература могут на деле помочь сегодняшнему миру?

То немногое, что удалось мне с годами в этой задаче разглядеть, я и попытаюсь изложить сегодня здесь.

3

На эту кафедру, с которой прочитывается Нобелевская лекция, кафедру, предоставляемую далеко не всякому писателю и только раз в жизни, я поднялся не по трем-четырем приращенным ступенькам, но по сотням или даже тысячам их — неуступным, обрывистым, обмерзлым, из тьмы и холода, где было мне суждено уцелеть, а другие — может быть с большим даром, сильнее меня — погибли. Из них лишь некоторых встречал я сам на Архипелаге ГУЛаге, рассыпанном на дробное множество островов, да под жерновом слежки и недоверия не со всяким разговаривался, об иных только слышал, о третьих только догадывался. Те, кто канул в ту пропасть уже с литературным именем, хотя бы известны — по сколько не узнавших, ни разу публично не названных¹ и почти-почти никому не удалось вернуться. Цветая национальная литература осталась там, погребенная не только без гроба, но даже без нижнего белья, голая, с биркой на пальце ноги. Ни на миг не прерывалась русская литература! — а со стороны казалась пустынею. Где мог бы расти дружный лес, осталось после всех лесоповалов два-три случайно обойденных дерева.

И мне сегодня, сопровождаемому тенями павших, и со склоненной головой пропуская вперед себя на это место других, достойных ранее, мне сегодня — как угадать и выразить, чьи хотели бы сказать о н и?

Эта обязанность давно тяготела на нас, и мы ее понимали. Словами Владимира Соловьёва:

Но и в цепях должны свершить мы сами
Тот круг, что боги очертили нам.

В томительных лагерных переброях, в колонне заключенных, ямгле вечерних морозов с просвечивающими цепочками фонарей — не раз подступало нам в горло, что хотелось бы выкрикнуть на целый мир, если бы мир мог услышать кого-нибудь из нас. Тогда казалось это очень ясно: что скажет наш удачливый посланец — и как сразу отзывно откликнется мир. Отчетливо был наполнен наш кругозор и телесными предметами и душевными движениями, и в недвоящемся мире им не виделось перевеса. Те мысли пришли не из книг и не заимствованы для складности: в тюремных камерах и у лесных костров они сложились в разговорах с людьми, теперь умершими, то ю жизнью проверены, от т у д а выросли.

Когда ж ослабилось внешнее давление — расширился мой и наш кругозор, и постепенно, хотя бы в щелочку, увиделся и узнался тот "весь мир". И поразительно для нас оказался "весь мир" совсем не таким, как мы надеялись: "не там" живущий, "не туда" идущий, на болотную топь восклицаящий: "Что за очаровательная лужайка!", на бетонные шейные колодки: "Какое утонченное сжерелье!", а где катятся у одних лиситирыные спёты, там другие прилясыывают беспечному мьюзыкулу.

Как же это случилось? Отчего же зинула эта пропасть? Бесчувственны ли были мы? Бесчувственен ли мир? Или это — от разницы ятыкки? Отчего не всякую внятную речь люди способны расслышать друг от друга? Слова отзвучивают и утекают как вода — без вкуса, без шпета, без запаха. Без следа.

По мере того, как я это понимал, менялся и менялся с годами состав, смысл и тон моей возможной речи. Моей сегодняшней речи.

И уже мало она похожа на ту, первоначально задуманную в морозные лагерные вечера.

И таких разных шкал в мире если не множество, то по всяком случае несколько: шкала для ближних событий и шкала для дальних; шкала старых обществ и шкала молодых; шкала благополучных и неблагополучных. Деления шкал кричаще не совпадают, пестрят, режут нам глаза, и чтоб не было нам больно, мы отмахиваемся от всех чужих шкал как от бешеного, от заблуждения, — и весь мир уверенно судим по своей домашней шкале. Оттого кажется нам крупней, большей и невыносимей не то, что на самом деле крупней, большей, и невыносимей, а то, что ближе к нам. Все же дальнее, не грозящее прямо сегодня двинуться до порога нашего дома, признается нами со всеми его стопами, задуманными криками, погубленными жизнями, хотя б и миллионными жертв — в общем вполне терпимым и сносным размером.

В одной стороне под гонениями, не уступающими древне-римским, не так давно отдали жизнь за веру в Бога сотни тысяч беззвучных христиан. В другом полушарии левый бешеный (и наверно он не одинок) мчится через океан, чтоб ударом стали в перлюссиях ОСВОБОДИТЬ нас от религии! По своей шкале он так рассчитал за всех за нас!

То, что по одной шкале представляется издали лживой благоденственной свободой, то по другой шкале вблизи ощущается досадным приложением, завущим к пероворачиванию автобуса. То, что в одном краю мечталось бы как неправдоподобное благополучие, то в другом краю возмущает как дикая эксплуатация, требующая немедленной забастовки. Разные шкалы для стихийных бедствий: наводнение и двести тысяч жертв кажется мельче нашего городского случая. Разные шкалы для оскорбления личности: где унижает даже ироническая улыбка и стертая движением, где и жестокие побои простительны как неудачная шутка. Разные шкалы для наказаний, для злодеяний. По одной шкале месячный арест, или ссылка в деревню, или «карцер», где кормят белыми булочками да молоком, — потрясает воображение, заливают газетные полосы гневом. А по другой шкале привычны и прецеденты — и тюремные сроки по двадцать пять лет, и карцеры, где на стенах лед, но раздевают до белья, и сумасшедшие дома для здоровых, и потравленные расстрелы бесчисленных неразумных, все почему-то куда-то бегущих людей. А особенно спокойно сердце за тот экзотический край, о котором и вовсе ничего не известно, откуда и события до нас не доходят никакие, а только поздние плоские дтядки малочисленных корреспондентов.

И за это двоенье, за это остолбенелое непониманье чужого дальнего горя нельзя упрекать человеческое зрение: уж так устроен человек. Но для целого человечества, стиснутого в единый ком, такое плановое непониманье грозит близкой и бурной гибелью. При шести, четырех, даже при двух шкалах не может быть единого мира, единого человечества: нас разорвет эта разница ритма, разница колебаний. Мы не уживём на одной Земле, как не жилец человек с двумя сердцами.

Но кто же и как совместит эти шкалы? Кто создаст человечеству единую систему отсчета — для злодеяний и благодеяний, для нетерпимого и терпимого, как они разграничиваются сегодня? Кто просит человечеству, что действительно тяжело и невыносимо, а что только по близости патирует нам кожу — и направит гнев к тому, что страшней, а не к тому что ближе? Кто сумел бы перенести такое понимание через рубеж собственного человеческого опыта? Кто сумел бы косному упрямому человеческому существу внушить чужде дальние горе и радость, понимание масштабов и заблуждений, никогда не пережитых ны самим? Бессильны тут и пропаганда, и принуждение, и научные доказательства. Но, к счастью, средство такое в мире есть! Это — искусство. Это — литература.

Доступно им такое чудо: преодолеть ущербную особенность человека учиться только на собственном опыте, так что плуге ему broxодит опыт других. От человека к человеку, восполняя его куцое земное время, искусство переносит целиком груз чужого долгого жизненного опыта со всеми его тяготами, красками, соками, во плоти воссоздает опыт, пережитый другими, — и дает усвоить как собственный.

И даже больше, гораздо больше того: и страны, и целые континенты повторяют ошибки друг друга с опозданием, бывает и на века, когда, кажется, так всё наглядно видно! а нет: то, что одними народами уже пережито, обдуманно и отвергнуто, вдруг обнаруживается другими как самое новейшее слово. И здесь тоже: единствонный заместитель не пережй того нами опыта — искусство, литература. Дана им чудесная способность: через различия языков, обычаев, общественного уклада переносить жизненный опыт от целой нации к целой нации — никогда не пережитый этуо вторую трудный многодесятилетний национальный опыт, в счастливом случае оберегая целую нацию от избыточного, или ошибочного, или даже губительного пути, тем сокращая извилины чеповеческой истории.

Об этом великом благословенном свойстве искусства я настойчиво напоминаю сегодня с нобелевской трибуны.

И еще в одном бесценном направлении переносит литература неопровержимый спущенный опыт: от поколения к поколению. Так она становится живую памятью нации. Так она теплит в себе и хранит ее утраченную историю — в виде, не поддающемся искажению и оболганию. Тем самым литература вместе с языком сберегает национальную душу.

(За последнее время можно говорить о нивелировке наций, об исчезновении народов в котле современной цивилизации. Я не согласен с тем, но обсуждение того — вопреке отдельный, здесь же уместно только сказать: исчезновение наций объединило бы нас не меньше, чем если бы все люди уподобились, в один характер, в одно лицо. Нации — это богатство человечества, это обобщенные личности его; самая малая из них несет свои особые краски, таит в себе особую грань Божьего замысла.)

Но горе той нации, у которой литература прерывается вмешательством силы: это — не просто нарушение «свободы печати», это — замкнутие национального сердца, иссечение национальной памяти. Нация не помнит сама себя, нация лишается духовного единства — и при общем как будто языке соотечественники вдруг перестают понимать друг друга. Отживают и умирают немые поколения, не рассказавшие о себе ни сами себе, ни потомкам. Если такие мастера, как Ахматова или Замятин, на всю жизнь тамурованы живо, осуждены до гроба творить молча, не слыша отзыва своему написанному, — это не только их личная беда, но горе всей нации, но опасность для всей нации.

А в иных случаях — и для всего человечества: когда от такого молчания перестает пониматься и вся целиком **ИСТОРИЯ**.

6

В разное время в разных странах горячо, и сердито, и изяшно спорили о том, должны ли искусствов и художник жить сами для себя или вечно помнить свой долг перед обществом и служить ему, хотя и несправедливо. Для меня здесь нет спора, но я не стану снова поднимать вереницы доводов. Одним из самых блестящих выступлений на эту тему была Нобелевская же лекция Альбера Камю — и к выводам ее я с радостью присоединяюсь. Да русская литература десятилетиями имела этот крест — не заглядываться слишком сама на себя, не пархать слишком беспечно, и я не стыжусь эту традицию продолжать по мере сил. В русской литературе издавна продвинулись нам представления, что писатель может многое и всем народе — и должен.

Не будем попираТЬ **ПРАВА** художника выражать исключительно собственные переживания и самонаблюдения, пренебрегая всем, что делается в остальном мире. Не будем **ТРЕБОВАТЬ** от художника, — но укорить, но попросить, но потвать и помянуть дозволено будет нам. Ведь только отчасти он развивает свое дарование сам, в большей доле оно вдувнuto в него с рождения готорым — и вместе с талантом положена ответственность на его свободную волю. Допустим, художник никому ничего **НЕ ДОЛЖЕН**, но больно видеть, как **МОЖЕТ** он, уходя в своеозданные миры или в пространства субъективных капризов, отдавать реальный мир в руки людей корыстных, а то и ничтожных, а то и безумных.

Оказался наш XX век жесточе предыдущих, и первой его полновинной не кончилось всё страшное в нем. Те же старые пещерные чувства — жадность, зависть, необузданность, взаимное недоброжелательство, на ходу принимая приличные псевдонимы вроде классовый, расовой, массовой, профсоюзной борьбы рвут и разрывают наш мир. Пещерное неприятие компромиссов введено в теоретический принцип и считается добродетелью ортодоксальности. Оно требует миллионных жертв в нескончаемых гражданских войнах, оно нагуживает в душу нам, что нет общечеловеческих устойчивых понятий добра и справедливости, что все они текучи, меняются, а значит всегда должно поступать так, как выгодно твоей партии. Любая профессиональная группа, как только находит удобный момент **ВЫРВАТЬ КУСОК**, хотя б и не зарыботанный, хотя б и избыточный — тут же вырывает его, а там хоть всё общество развалилось. Амплитуда швыряний западного общества, как видится со стороны, приближается к тому пределу, за которым система становится метастабильной и должна развалиться. Все меньше стесняясь рамками многовековой законности, нагло и победно штыкает по всему миру насилем, не заботясь, что его бесплодность уже много раз проявлена и доказана в истории. Торжествует даже не просто грубая сила, но ее трубное оправдание: заливают мир наглая уверенность, что сила может всё, а правда — ничего. **БРСЫ** Достоевского — хаталось, провинциальная коньячная фантазия прошлого века, на наших глазах расплодится по всему миру, в такие страны, где и вообразить их не могли — и вот угонами самолётов, танкатами **ЗАЛОЖНИКОВ**, взрывами и пожарами последних лет сигналият о своей решимости сотрясти и уничтожить цивилизацию! И это вполне может удалиться им. Молодежь — в том возрасте, когда еще нет другого опыта, кроме сексуального, когда на плечах еще нет годов собственных страданий и собственного понимания, восторженно повторяет наши русские опороченные зады XIX века, а кажется ей, что открывает новое что-то. Новоявленная хунвейбиновская дегредация до ничтожества принимается ею за радостный образец. Верховняющее исполнимание плывучкой человеческой сути, наивная уверенность непоживших сердец: вот этих лютых, жадных притеснителей, правителей прогоним, а следующие (мы!), отложив травматы и автматы, будут справедливые и сочувственные. Как бы не так! . . . А кто пожит и понимает, кто мог бы этой молодежи возразить — многие **НЕ СМЕЮТ** возражать, даже заискивают, только бы не показаться «консерваторями» — снова явление русское, XIX века, Достоевский называл его **РАБСТВОМ У ПЕРФОРНЫХ ИДЕЕК**

Дух Мюнхена — насколько не ушел в прошлое, он же был коротким эпизодом. Я смеялся даже сказать, что дух Мюнхена преобладает в XX веке. Оробелый цивилизованный мир перед натиском внезапно вопреки своему скептическому варварству не нашел ничего другого противопоставить ему, как уступки и улыбки. Дух Мюнхена есть болезненная воля благополучных людей, он есть повседневное состояние тех, кто отдался жажде благоденствия во что бы то ни стало, материальному благосостоянию как главной цели земного бытия. Такие люди — а множество их в сегодняшнем мире — избирают пассивность и отступление, лишь дальше потянулась бы привычная жизнь, лишь не сегодня бы перешагнуть в суровость, а завтра, глядишь, обойдется... (Но никогда не сбойдется! — расплата за трусость будет только злей. Мужество и одоление приходят к нам, лишь когда мы решаемся на жертвы.)

А еще нам грозит гибелью, что физически сжатому стесненному миру не дают слиться духовно, не дают молекулам знания и сочувствия перескакивать из одной половины в другую. Это лютая опасность: ПРЭСЕКЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ между частями планеты. Современная наука знает, что пресечение информации есть путь энтропии, всеобщего разрушения. Пресечение информации делает прозрачными международные подписи и договоры: внутри ОГЛУШЕННОЙ зоны любой договор ничего не стоит перетолковать, а еще проще — забить, он как бы и не существовал никогда (это Ордулл прекрасно понял). Внутри оглушенной зоны живут как бы не жители Земли, а марсианский экспедиционный корпус, они толком ничего не знают об остальной Земле, и готовы пойти топтать ее в святой уверенности, что «осваивают».

Четверть века назад в великих надеждах человечества родилась Организация Объединенных Наций. Увы, в безответственном мире выросла безответственная и она. Это не Организация Объединенных Наций, но Организация Объединенных Правительств, где уравнены и свободно избранные, и насильственные навязанные, и оружием захватившие власть. Корыстным присрастием большинства ООН ретиво заботится о свободе одних народов и в небрежении оставляет свободу других. Угодливым голосованием она отвергла рассмотрение ЧАСТНЫХ ЖАЛОБ — стоня, криком и умолениям единичных маленьких ПРОСТО ЛЮДЕЙ — слишком мелких букашек для такой великой организации. Своей лучшей за 25 лет документ — Декларацию Прав человека, ООН не посмела сделать ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ для правительств, УСЛОВИЕМ их членства — и так предала маленьких людей воле избранных ими правительств.

Казалось бы, облик современного мира весь в руках ученых, все техническое пяти человечества решаются ими. Казалось бы, именно от всемирного содружества ученых, а не от политиков, должно зависеть куда миру идти. Тем более, что пример единицы показывает, как много могли бы они сдвинуть все вместе. Но нет, ученые не явили яркой попытки стать важной самостоятельной действующей силой человечества. Целыми конгрессами отпихиваются они от чужих страданий: уютней остаться в границах науки. Всё тот же дух Мюнхена развесил над ними свои расслабляющие крыла.

Каковы ж в этом жестоким, динамичном, взрывном мире, на черте его десяти гибелей — место и роль писателя? Уж мы и вовсе не шлем ракет, не катим даже последней подсобной тележки, мы и вовсе в прорыве у тех, кто уважает одну материальную мощь. Не естественно ли нам тоже ступить, разувряться в неколебимости добра, в недобробности правды и лишь поведывать миру свои горькие сторонние наблюдения, как безразлично исковеркано человечество, как измельчали люди и как трудно среди них одиноким тонким красивым душам?

Но и этого бегства — нет у нас. Однажды взявшись за СЛОВО, уже потом никогда не уклониться: писатель — не посторонний судья спгим есотчественникам и современникам, он — соинвалик во всем зле, совершенном у него на родине или его народом. И если танки его отечества залили кровью асфальт чужой столицы — то бурые пятна навек заплясали лицо писателя. И если в роковую ночь удушили слышста

доверчивого Друга — то на ладонях писателя синяки от той веревки. И если юные его сограждане развязно декларируют преимущество газарата над скромным трудом, отдают наркотикам или хватают ЗА ЛОЖНИКОВ — то перемешивается это плование с дыханием писателя.

Найдем ли мы дерзость заявить, что не ответчики мы за явил сегодняшнего мира?

Однако, ободряет меня живое ощущение **МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ** как единого большого сердца, колотящегося о заботах и бедах нашего мира, хотя по-прежнему представляемых и видимых во всяком его углу.

Помимо исконных национальных литератур, существовало и в прежние века понятие мировой литературы — как огибающей по вершинам национальных и как совокупности литературных взаимовлияний. Но случалась задержка во времени: читатели и писатели узнавали писателей и поэтязычных с опозданием, иногда вековым, так что и взаимные влияния опаздывали и огибающая национальных литературных вершин проступала уже в глазах потомков, не современников.

А сегодня между писателями одной страны и писателями, и читателями другой есть взаимодействие если не мгновенное, то близкое к тому, я сам на себе испытываю это. Не навечьянные, увы, на разнице. Мои книги, несмотря на последние и часто дурные переводы, быстро нашли себе отзывчивого мирового читателя. Критическим разбором их занялись такие выдающиеся писатели Запада как Герхард Бёлль. Все эти последние годы, когда моя работа и свобода не рухнули, держались против законов тяжести как будто в воздухе, как будто **НИ НА ЧЁМ** — на невидимом, немом натяге сочувственной общественной пленки, — я с благодарною теплотой, совсем неожиданно для себе узнал поддержку и мирового братства писателей. В день моего 50 летия я изумлен был, получив поздравления от известных европейских писателей. Никакое давление на меня не стало проходить незамеченным. В опасные для меня недели исключения из писательского союза **СТЕНА ЗАЩИТЫ**, выдвинутая видными писателями мира, предохранила меня от худших гонений, а норвежские писатели и художники на случай грозившего мне изгнания с родины гостеприимно готовили мне кров. Наконец, и само выдвижение меня на Нобелевскую премию возбуждено не в той стране, где я живу и пишу, но — Франсуа Мориаком и его коллегами. И, еще позже того, целые национальные писательские объединения выразили поддержку мне.

Так я понял и ощутил на себе: мирная литература — уже не отвлеченная гибнущая, уже не обобщение, созданное литературоведами, но некое общее тело и общий дух, живое сердечное единство, в котором отражается растущее духовное единство человечества. Еще блуждают государственные границы, накалинные проволокою под током и автоматными очередями, еще ныне министерства внутренних дел полагают, что и литература — «внутреннее дело» подведомственных им стран, еще

И простой шаг простого мужественного человека: не участвовать во лжи, не поддерживать ложных действий! Пусть это приходит в мир и даже царит в мире — но не через меня. Писателям же и художникам доступно большее: ПОБЕДИТЬ ЛОЖЬ! Уж в борьбе-то с ложью искусство всегда побеждало, всегда побеждает! — прямо, неопровержимо для всех! Против многого в мире может выстоять ложь — но только не против искусства.

А едва развеяна будет ложь — отвратительно откроется нагота насилия — и насилие дряхлое падет.

Вот почему я думаю, друзья, что мы способны помочь миру в его раскаленный час. Не отнекиваться безоружностью, не отдаваться беспечной жизни, — но выйти на бой!

В русском языке излюблены пословицы о ПРАВДЕ. Они настойчиво выражают немалый тяжелый народный опыт и иногда поразительно:

ОДНО СЛОВО ПРАВДЫ ВЕСЬ МИР ПЕРЕТЯНЕТ.

Вот на таком мнимо-фантастическом нарушении закона сохранения масс энергии основана и моя собственная деятельность, и мой призыв к писателям всего мира

Но это же и как совместно эти авторы? Кто делает принадлежность своему своему стилю — для молодой и бледной, для нетерпеливой и вероломной, как две разграничивающие стадии? Кто проводит принадлежность, что действительно таково и невыполнимо, а что только во близости материи как тому — а напротив так и тому, что страданья, и не к тому что благо? Кто сумел бы доказать такое понимание через рубик собственного человеческого опыта? Кто сумел бы доказать украинскому читателю качество культуры через дальние горы и равнины, различные масштабы и убеждения, всегда не перекатив им самим? Безошибочны тут и пропитания, и пропитания, и научные доказательства. Но, а счастье, счастье таково и море есть? Это — искусство. Это — литература.

Доступно им такое чудо: продолжить универсальную принадлежность человека учиться только на собственном опыте, так что море ему прокладывает путь другим. Но человека к человеку, восполняя это чудо такое время, искусство парадокс: человек грустнее этого долгого человеческого опыта от моря это торопится, вращается, стелется, но этого восполняет опыт, пережитый другими, — а даст уснуть как собственный.

И даже больше, горюдо больше того: и страна, и целые элементы принадлежат только друг друга с опытом, бываю и во время, когда, кажется, так же взгляды всегда и нет то, что человек переживает уже пережить, обдумано и открыто, вдруг обнаруживается другим как такое сложное слово. И так: тоже единственной замечательной не пережитого вами опыта — искусство, литература. Дана им чудеса способность: через различные виды, опыта, общественного умения пережить человеческий опыт от одной жизни к другой жизни — много ли не пережитый. Но и второе трудный многозначительный человеческий опыт, а счастливого опыта обрести лучше можно от избыточного, или избыточного, или даже губительного пути, так стараясь изменить человеческой истории.

Об этом человеке Власовичем своим искусстве и истинно выходящим опытом с человеческой судьбы.

И как в своем бесконечном направлении пережить литература несовершенство ступенчатый опыт от человека к человеку. Так она становится много самими нами. Так она делает в себе и хранит не утраченную историю — в виде, не поддающемуся воздействию и обману. Так самим литература может с опытом обрести человеческую душу.

Об последнем время можно говорить о человеческой судьбы, об человеческой истории в конце современной цивилизации. Я не соглашусь с тем, кто обсуждает так — вопрос отдаленный, лишь же умение только сказать: человеческая жизнь обрести бы как не умение, чем если бы не все люди умелись, и один характер, и один язык. Ничего — не богатство человечества, это обретенные личности это одна жизнь от нас есть свои особые краски, так в себе особую грань. Больше там...

Но горе той нации, у которой литература прерывается вмешательством силы: это — не просто нарушение «свободы печати», это — замкнутие национального сердца, истечение национальной памяти. Нация не помнит сама себя, нация лишается духовного единства — и при общем как будто языке соотечественники вдруг перестают понимать друг друга. Отживают и умирают немые поколения, не рассказавшие о себе ни сами себе, ни потомкам. Если такие мастера, как Ахматова или Замятин, на всю жизнь замурованы заживо, осуждены до гроба творить молча, не слыша отзыва своему написанному, — это не только их личная беда, но горе всей нации, но опасность для всей жизни.

А в иных случаях — и для всего человечества: когда от такого молчания перестает пониматься и вся целиком ИСТОРИЯ

6

В разное время в разных странах горячо, и сердито, и изящно спорили о том, должны ли искусство и художник жить сами для себя или вечно помнить свой долг перед обществом и служить ему, хотя и несправедливо. Для меня здесь нет спора, но я не стану снова поднимать вереницы доводов. Одним из самых блестящих выступлений на эту тему была Нобелевская же лекция Алябера Кьяно — и к выводам ее я с радостью присоединяюсь. Да русская литература десятилетиями имела этот крен — не заглядываться слишком сама на себя, не порхать слишком беспечно, и я не стыжусь эту традицию продолжать по мере сил. В русской литературе издавна продвинулись нам представления, что писатель может многое и всем народу — и должен.

Не будем полировать ПРАВА художника выражать исключительно собственные переживания и самонаблюдения, пренебрегая всем, что делается в остальном мире. Не будем ТРЕБОВАТЬ от художника, — но укорить, но попросить, но позвать и помянуть дозволено будет нам. Ведь только отчасти он развивает свое дарование сам, в большей доле оно влунуто в него с рождения готовым — и вместе с талантом положена ответственность на его свободную волю. Допустим, художник никому ничего НЕ ДОЛЖЕН, но больно видеть, как МОЖЕТ он, уходя в своеозданные миры или в пространства субъективных капризов, отдавать реальный мир в руки людей корыстных, а то и ничтожных, а то и безумных.

Оказался наш XX век жесточе предыдущих, и первой его половиной не кончилось всё страшное в нем. Те же старые пещерные чувства — жадность, зависть, необузданность, взаимное недоброжелательство, на ходу принимая приличные псевдонимы вроде классовый, расовой, массовой, профсоюзной борьбы рвут и разрывают наш мир. Пещерное неприятие компромиссов введено в теоретический принцип и считается добродетелью ортодоксальности. Она требует миллионных жертв в нескольких гражданских войнах, оно нагуживает в душу нам, что нет общечеловеческих устойчивых понятий добра и справедливости, что все они текучи, меняются, а значит всегда должно поступать так, как выгодно

твоя партия. Любая профессиональная группа, как только находит удобный момент **ВЫРВАТЬ КУСОК**, хотя б и не заработанный, хотя б и избыточный — тут же вырывает его, а там хоть всё общество развалилось. Амплитуда швыряний западного общества, как видится со стороны, приближается к тому пределу, за которым система становится метастабильной и должна развалиться. Все меньше стесняясь рамками многовековой законности, нагло и победно шествует по всему миру насилия, не заботясь, что его бесплодность уже много раз проявлена и доказана в истории. Торжествует даже не просто грубая сила, но ее трубиное оправдание: заливают мир наглой уверенностью, что сила может всё, а правда — ничего. **БРСЫ Достоевского** — казалось, провинциальная коньячная фантазия прошлого века, на наших глазах расплодилось по всему миру, в такие страны, где и вообразить их не могли — и вот угонами самолетов, тактатами **ЗАЛОЖНИКОВ**, взрывами и пожарами последних лет сигналият о своей решимости сотрясти и уничтожить цивилизацию! И это вполне может удалиться им. Молодежь — в том возрасте, когда еще нет другого опыта, кроме сексуального, когда за плечами еще нет годов собственных страданий и собственного понимания, восторженно повторяет наши русские опороченные заветы XIX века, а кажется ей, что открывает новое что-то. Невоявленная хунвейбинская дегградация до ничтожества принимается ею за радостный образец. Верхоязвительное непонимание плечевой человеческой сути, наивная уверенность непоживших сердец: вот этих лютых, жадных притеснителей, правителей проговим, а следующие (мы!), отягочив травматы и автоматы, будут справедливые и сочувственные. Как бы не так! . . . А кто пожит и понимает, кто мог бы этой молодежи вопреки — многие **НЕ СМЕЮТ** возражать, даже заискивают, только бы не показаться «консерваторями» — снова явление русское, XIX века, Достоевский называл его **РАБСТВОМ У ПЕРФДОННЫХ ИДЕЕК**

Дух Мюнхена — несколько не ушел в прошлое, он не был коротким эпизодом. Я смеюсь даже сказать, что дух Мюнхена преобладает в XX веке. Оробелый цивилизованный мир перед натиском внезапно воротившегося скаленности варварства не нашел ничего другого противопоставить ему, как уступки и улыбки. Дух Мюнхена есть болезнь воли благополучных людей, он есть повседневное состояние тех, кто отдался жажде благоденствия во что бы то ни стало, материальному благосостоянию как главной цели земного бытия. Такие люди — а множество их в сегодняшнем мире — избирают пассивность и отступление, лишь дальше потянулась бы привычная жизнь, лишь не сегодня бы перешагнуть в суровость, а завтра, глядишь, обойдется . . . (Но никогда не сбойдется! — расплата за трусость будет только злей. Мужество и одоление приходят к нам, лишь когда мы решаемся на жертвы.)

А еще лам грозит тибельню, что физически сжатою стесненному миру не дают слиться духовно, не дают молекулам знания и сочувствия перескакивать из одной лгловины в другую. Это лютая спасность: **ПРФСФ-ЧФНИЕ ИНФОРМАЦИИ** между частями планеты. Современная наука знает, что пресечение информации есть путь энтропии, всеобщего разупренения. Пресечение информации делает прозрачными международные подписи и договоры: внутри **ОГЛУШЕННОЙ** зоны любой договор ничего не стоит перетолковать, а еще проще — забыть, он как бы и не существовал никогда (это Орулла прекрасно понял). Внутри оглушённой зоны живут как бы не жители Земли, а марсианский экспедиционный корпус, они толком ничего не знают об остальной Земле, и готовы пойти топтать ее в святой уверенности, что «осваивают».

Четверть века назад в великих надеждах человечества родилась Организация Объединенных Наций. Увы, в безправственном мире выросла безправственной и она. Это не Организация Объединенных Наций, но Организация Объединенных Правительств, где уравнены и свободно избранные, и насильственные навязанные, и оружием захватившие власть. Корыстным присрастием большинства ООН ревниво заботится о свободе одних народов и в небрежении оставляет свободу другим. Угодливым голосованием она отвергла рыхлотрские **ЧАСТНЫХ ЖАЛОБ** — стоишь, криков и умолений единичных маленьких **ПРОСТО ЛЮДЕЙ** — слишком мелких букашек для такой великой организации. Свой лучший за 25 лет документ — Декларацию Прав человека, ООН не посмилась сделать **ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ** для правительств, **УСЛОВИЕМ** их членства — и так предала маленьких людей воле неизбранных ими правительств.

Катапоск бы, облик современного мира весь в руках ученых, все технические тяги человечества решаются ими. Катапоск бы, именно от всемирного содружества ученых, а не от политиков, должно зависеть куда миру идти. Тем более, что пример единицы показывает, как много могли бы они сдвинуть все вместе. Но нет, ученые не явили яркой попытки стать важной самостоятельной действующей силой человечества. Целыми конгрессами отпихиваются они от чужих страданий: уютней остаться в границах науки. Всё тот же дух Мюнхена развесил над ними свои расслабляющие крыла.

Каковы ж в этом жестком, динамичном, врываемом мире, на черте его десяти гибелей — место и роль писателя? Уж мы и вовсе не шлем ракет, не катим даже последней подсобной тележки, мы и вовсе в прелюдии у тех, кто уважает одну материальную мощь. Не естественно ли нам тоже ступить, разувреться в непоколебимости добра, в недобрости правды и лишь повсвдывать миру свои горькие стертые наблюдения, как безразлично исковеркано человечество, как измелчали люди и как трудно среди них одиноким тонким красивым душам?

Но и этого белства — нет у нас. Однажды взявшись за СЛОВО, уже потом никогда не уклониться: писатель — не посторонний судья своим соотечественникам и современникам, он — совиновник во всем зле, совершенном у него на родине или его народом. И если танки его отечества палили кровью асфальт чужой столицы — то бурные пятна навек заплепают лицо писателя. И если в роковую ночь удупили слышсто

доверчивого Друга — то на ладонях писателя синяки от той веревки. И если юные его сограждане развонно декларируют превосходство гаварата над скромным трудом, отдаютя наркотикам или хватают ЗАЛОЖНИКОВ — то перемешивается это плование с дыханием писателя.

Найдем ли мы дерзость заявить, что не ответчики мы за явил сегодняшнего мира?

7

Однако, ободряет меня живое ощущение МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ как единого большого сердца, колотящегося о заботах и бедах нашего мира, хотя по-сяему представляемых и видимых во всяком его углу.

Помимо исконных национальных литератур, существовало и в прежние века понятие мировой литературы — как огибающей по вершинам национальных и как совокупности литературных взаимовлияний. Но случалась задержка во времени: читатели и писатели узнавали писателей иноязычных с опозданием, иногда вековым, так что и взаимные влияния опаздывали и огибающая национальных литературных вершин проступала уже в глазах потомков, не современников.

А сегодня между писателями одной страны и писателями, и читателями другой есть взаимодействие если не мгновенное, то близкое к тому, я сам на себе испытываю это. Не навечьянные, увы, на родине. Мои книги, несмотря на последние и часто дурные переводы, быстро нашли себе отзывчивого мирового читателя. Критическим разбором их занялись такие выдающиеся писатели Запада как Гейрх Бёлль. Все эти последние годы, когда моя работа и свобода не рухнули, держались против законов тяжести как будто в воздухе, как будто НИ НА ЧЁМ — на невидимом,

лемом натяге сочувственной общественной пленки, — я с благодарной теплотой, совсем неожиданно для себя узнал поддержку и мирового братства писателей. В день моего 50-летия я изумлен был, получив поздравления от известных европейских писателей. Никакое давление на меня не стало проходить незамеченным. В опасные для меня недели исключения из писательского союза **СТЕНА ЗАЩИТЫ**, выдвинутая видными писателями мира, предохранила меня от худших гонений, а норвежские писатели и художники на случай грозившего мне изгнания с родины гостеприимно готовили мне трон Нахсенец, и само выдвижение меня на Нобелевскую премию возбуждено не в той стране, где я живу и пишу, но — Франсуа Мориаком и его коллегами И, еще позже того, целые национальные писательские объединения выразили поддержку мне.

Так я понял и ощутил на себе, мировая литература — уже не отягеченная сгибающаяся, уже не обобщенная, созданная литературоведами, но некое общее тело и общий дух, живое сердечное единство, в котором отражается растущее духовное единство человечества. Еще затрапевают государственные границы, наваленные проволокою под током и автоматами очередями, еще ныне министерства внутренних дел полагают, что и литература — «внутреннее дело» подведомственных им стран, еще

И простой шаг простого мужественного человека: не участвовать во лжи, не поддерживать ложных действий! Пусть это приходит в мир и даже дарит в мире — но не через меня. Писателям же и художникам доступно большее: **ПОБЕДИТЬ ЛОЖЬ!** Уж в борьбе-то с ложью искусство всегда побеждало, всегда побеждает! — тримо, неопровержимо для всех! Против многого в мире может выстоять ложь — но только не против искусства

А едва развевна будет ложь — отвратительно откроется нагота насилия — и насилие дряхлое падет.

Вот почему я думаю, друзья, что мы способны помочь миру в его раскаленный час. Не отнекиваться безоружностью, не отдаваться беспечной жизни, — но выйти на бой!

В русском языке излюблены послания о ПРАВДЕ. Они настойчиво выражают немалый тяжелый народный опыт и иногда поразительно:

ОДНО СЛОВО ПРАВДЫ ВЕСЬ МИР ПЕРЕТЯНЕТ.

Вот на таком мнимо-фантастическом нарушении закона сохранения масс энергий основана и моя собственная деятельность, и мой призыв к писателям всего мира